Неделя — 1988 — 12–18 сент. (№37)

Этим летом Ирине Владимировне Одоевцевой исполнилось 93 года. 65 лет из них она провела в эмиграции. В апреле прошлого года после столь долгой разлуки — в целую жизнь — вернулась домой. Имя русской писательницы, автора шести сборников превосходных стихов, нескольких романов и двух книг воспоминаний: «На берегах Невы» (1966 г.) и «На берегах Сены» (1982 г.), до самого последнего времени практически не было известно нашим читателям. Но лишь только ленинградский журнал «Звезда» взялся публиковать сокращенный вариант первой книги, как стало ясно, что возродился из небытия еще один незаурядный русский талант. В апреле 1987 года Ирину Владимировну встречали в Ленинграде. А это лето она провела в Переделкине, в писательском Доме творчества, где мы и беседовали с нею.

Ирина ОДОЕВЦЕВА:

ВСТРЕЧИ С ГУМИЛЕВЫМ

— Ирина Владимировна! Нам предстоит о многом говорить, но давайте начнем с самого простого. Вот уже больше года вы на Родине. Только что вышла ваша первая книга воспоминаний «На берегах Невы». Что вы чувствуете по этому поводу?

— Восхищение. Ведь я всю жизнь писала свои книги с тайной надеждой, что когда-нибудь меня будут читать в моей стране. Конечно, я и представить себе не могла, что доживу до этого. До сих пор не могу поверить в свершившееся чудо, не могу прийти в себя от радости, что я дома. Просыпаюсь иногда и думаю в изумлении: за что мне все это? Знаете, во Франции есть такие автоматы: кидаешь франк — получаешь почтовую марку. Машины эти часто ломаются, а люди не знают об этом и продолжают бросать и бросать франки, а потом вы идете, решаете купить марку, кидаете свой франк, и на вас вдруг сыплются сотни монет... чужих. Ибо вы тут вовсе ни при чем. Вот и у меня такое чувство, что я получила и получаю слишком много, незаслуженно много. Как будто мне выпала доля получить за всех тех, кто не дожил до встречи с Родиной. И хотя моя жизнь последние годы полна несчастий — шесть тяжелых операций под общим наркозом,— я каждый день благодарю благословенное время, когда я смогла вернуться на родную землю.

— В журнале «Звезда» уже напечатали в сокращенном варианте вашу книгу. Пишут ли вам читатели?

— Да, да, я получила множество писем. Вот, например, пишет мне профессор Вадим Васильевич Брандулеев: «На берегах Невы» — замечательная книга. Ее можно перечитывать без конца, и всякий раз в душе остается что-то радостное. Я не знаю ничего более светлого, оптимистического и глубокого, чем эти воспоминания. Особенно хорошо вам удался Николай Степанович (Гумилев. — А. К.). На страницах вашей книги он как живой, и я завидую вам, что вы имели счастье видеть его, общаться с ним... Когда он погиб, мне было семь лет. Для меня видеть вас — это то же, что видеть живого Николая Степановича...» И, вы знаете, люди не только пишут мне, а и приезжают и становятся мне близкими людьми. Мне это чрезвычайно приятно, потому что я люблю своего читателя.

— Вы мне говорили, что в эмиграции никому не нужны были стихи, потому вы вынуждены были перейти на прозу. Но книга ваша, написанная как бы на одном дыхании, по-моему, и есть поэзия. Проза поэта — потому она и особенная.

— Возможно, вы правы. Я действительно эту книгу написала очень быстро. Написала ее, когда жила в Ганьи, в доме престарелых, после смерти моего мужа — поэта Георгия Иванова. В этом же доме жил поэт Юрий Терапиано. Он ко мне буквально пристал, чтобы я написала воспоминания. Кроме вас, говорил он, это уже никто не сделает. А я не хотела. Я решила тогда, что больше не напишу ни строчки, я была оскорблена эмигрантской колонией, которая распускала про меня всякие сплетни, что будто бы всегда за меня писали другие, то Гумилев, то Г. Иванов, и теперь будто бы я ни на что не способна. Но Терапиано так меня уговаривал, что я села и быстро написала книгу, как будто бы открыла дверь в другую комнату — в свою юность, в Петроград, в те «баснословные годы»...

— Ваша книга все-таки в основном о Н. С. Гумилеве, вы были его лучшей ученицей. Какую роль сыграл он в вашей жизни?

— О, конечно, огромную роль. Он был действительно моим учителем, очень серьезно занимался мною. Он сделал меня прежде всего культурным человеком. Преподал мне французскую поэзию, английскую, которых я не знала, хотя с детства владела почти всеми европейскими языками...

● *20-е годы. Париж.*

— Вы состояли в «Цехе поэтов», организованном Гумилевым, ведь так?

— В мое время «Цех поэтов» уже стал только подобием того, чем был прежде. Гумилев был очень строгим учителем, мы все ходили перед ним на цыпочках.

— Ирина Владимировна! Хочу вас спросить вот о чем. Знаю, что к вам в течение всего этого года приходят люди и спрашивают, а некоторые чуть ли не требуют, чтобы вы отказались от того, что написали в книге по поводу участия Гумилева в заговоре. Вы считаете, что заговор был?

— Кто ж это, душенька, знает? Я пишу только то, что я видела собственными глазами и слышала собственными ушами.

Газета «Петроградская правда» сообщала, что Гумилев «активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности». Газета эта сохранилась в архивах. Но я не верю в серьезность этого заговора, скорее всего, он был дутый.

Быть может, игра в заговор. Мы ведь вообще все думали тогда, что Гумилев играет в солдатики, но игра-то, как оказалось, была слишком опасная. Гумилев был мальчишкой в свои 36 лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым. Конечно, он никакой не политик, никакой не конспиратор, он был прежде всего поэтом. В любом случае расстрел — страшная, непоправимая ошибка. Я думаю даже, что если бы большевики к нему лучше отнеслись, он мог бы и среди них быть первым, но когда они к нему так, то — как вызов он читает на вечере у матросов:

Я бельгийский ему подарил
пистолет
И портрет моего Государя.

Любой из тех, кто сидел в зале, мог тут же безнаказанно пустить пулю ему в лоб, но он скрестил руки и ждал. Это была победа — зал ему аплодировал.

Какой он был конспиратор! И ящик с деньгами был даже не заперт, и рассказал он мне все про ячейки и даже людей назвал. Там был один малоизвестный поэт, я, к сожалению, не помню его фамилии. После расстрела Гумилева этот поэт ко мне забежал, спрашивал, что делать, я посоветовала сидеть тихо, никуда не уезжать. И действительно, его не тронули.

Как странно все обернулось! Когда я жила в эмиграции, там все время говорили, когда же Советы наконец признаются, что они расстреляли ни в чем неповинного поэта? Теперь же здесь, в стране, все тоже стремятся доказать, что убили невинного поэта. Хотят представить дело так: поэт пишет себе стихи, ничего больше не ведает, а его берут и как овцу режут. Да, мы не верили в серьезность заговора, я даже уверена, что никакого оружия у него никогда не было, хотя он похлопывал себя по карману, делая вид, что там у него револьвер. Но как бы там ни было, он погиб.

Каковы бы ни были его убеждения, для меня он остался героем. Так я и написала в своих стихах:

...поставили к стенке
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни холма, ни креста, ничего,
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой,
А в небе звезды пели:
Слава тебе, герой!

Мне здесь говорили, что выход моей книги в Париже в 1966 году был причиной тому, что в Союзе «рассыпали» уже набранный сборник стихов Гумилева. Говорили, что мне не может этого простить его сын — Л. Н. Гумилев. Конечно, если бы я могла знать, что хоть как-то, хоть чем-то то, о чем я честно писала через столько лет после гибели поэта, может кому-то повредить, безусловно, я бы умолчала вообще о том, что знала. Ведь я начала писать свою книгу в 1964 году, 11 лет спустя после смерти Сталина, и, конечно, была уверена, что здесь все коренным образом изменилось.

Но сегодня это уже не имеет никакого значения. Здесь, в Ленинграде, меня уговаривали отказаться от моих слов по поводу денег, которые я видела у Гумилева, намекали, что я ведь могла что-то перепутать, что-то забыть. Конечно, я могу что-то забыть, что-то перепутать, но разве может человек забыть, как умирала его мать? Для меня тогда его гибель была самым страшным потрясением в жизни, и я не могу забыть ничего из тех дней, ни одного слова, ни одного факта.

Мне говорили, что я должна была умолчать об этом, так как ставлю себя таким образом по «ту сторону баррикад». Но ведь уйду я, уйдем все мы, придут новые, свободные люди, и, дай тебе господи, может быть, не будет больше баррикад. А я — последний свидетель этих событий — не должна ни солгать, ни смолчать. Меня могут объявить выжившей из ума, потерявшей память, но я должна была сказать о том, что видела, чему была свидетелем. Пусть литературоведы и прокуроры копаются в этом хоть целый век, мне хочется сказать одно: хватит баррикад, хватит разделений на «наших» и «ваших», есть одна великая русская литература, которой мы все служим.

В журнале «Новый мир» (№ 12 за 1987 год) прокурор Г. А. Терехов утверждает, что Гумилева осудили «за недонесение». Однако в то время такого понятия не существовало. Оно, вероятно, появилось позже, при Сталине.

Мои родные после расстрела Гумилева в страхе за меня уничтожили все его письма ко мне, альбом, стихи. Но к нам так никто и не заявился с обыском.

В часовне на Невском служили панихиду по Гумилеву, там были Ахматова, Лозинский, Г. Иванов, я и другие. Нас пугали, что всех там заберут. Но никого не тронули.

В 1922 году вышел посмертный сборник Гумилева «Огненный столп». Г. Иванов, помню, собирал стихи, готовя сборник, и многие барышни приносили ему стихи Гумилева с посвящением. Встречались меж них часто одни и те же строки, только цвет волос или глаз были разными. Г. Иванов был просто в растерянности. А потом нашел выход. Сказал каждой в отдельности, что, мол, конечно, все знают, что это ей посвящено, но нельзя же огорчать вдову, и без того она в горе.

Мне Н. С. тоже часто посвящал стихи, но поручиться могу только за «Лес».

Гумилев был большим поэтом и очень сильной личностью. Влияние его было так сильно, что, я думаю, останься он в живых, поэзия пошла бы по другому пути. Он сам мне говорил, что только теперь чувствует в себе новые силы, совсем по-другому будет писать. Пример тому — его последние стихи «Цыгане» и «Заблудившийся трамвай». В гениальном «Заблудившемся трамвае» он предсказал свою гибель. Он вообще обладал даром провидца — предсказал вторую мировую войну, например. Говорил: «Война будет с немцами через 20 лет, и мы немцев побьем».

— Гумилев у вас такой живой. Столько мы с вами говорим о нем, а все время возникают какие-то новые детали, интересные, очень живые. Мы обычно сразу обожествляем любимого поэта, а у вас это сочетается с объективностью, несмотря на очень добрый взгляд.

— Да, мы с ним были духовно очень близки. Но многое мне в нем и не нравилось, конечно...

— Как он ел при вас, а вы были голодны?

Ирина Владимировна смеется:

— Я до сих пор не понимаю, как можно есть при голодном человеке. Это было действительно очень странно... А однажды, собираясь в Бежецк, где находились его жена, мать и дети — Левушка и Леночка, — он добыл кусок мяса и спросил меня, не смогу ли я его поджарить. Я взялась, проткнула мясо со всех сторон и великолепно поджарила. Сама же, конечно, не помнила, когда и ела мясо в последний раз. Он срезал маленький кусочек, чтобы убедиться, готово ли оно, я думала, что он мне хоть этот ломтик даст попробовать, но Гумилев приложил его к куску, аккуратно все завернул и повез, похвалив меня за хорошую работу. А вообще он был очень щедрым, однажды подарил мне свою любимую картину. Он вообще мог все подарить...

— А с кем он больше всего был дружен?

— Единственным настоящим другом Гумилева был Лозинский. Это был чудесный человек. У нас с ним были самые теплые отношения. Он мне даже эпиграмму написал тогда:

Поклонники льстили
На все мне лады
И мне подносили
«Леса» и «Сады».

— Вас спрашивают: был ли Гумилев влюблен в вас?

— Ну, конечно, меня об этом спрашивают. Разумеется, я бы могла, как говорится, «распушить хвост» и рассказать о нашем романе. Ведь за это — «Лес», да и вообще наши отношения. Ну да, был влюблен, но он ведь во многих бывал влюблен. Мы все тогда повторяли строчку М. Кузмина: «И снова я влюблен впервые, навеки снова я влюблен». Сколько было у него этих влюбленностей — не счесть. В Париже — «Синяя звезда», очаровательная Лариса Рейснер... Но как я написала в своей книге, я всегда была уверена, что по-настоящему он любил только А. А. Ахматову. Только ее одну. Был ею измучен, был уязвлен разводом.

— А с Ахматовой вы встречались?

— С Анной Андреевной у меня была одна-единственная встреча, в 1922 году, уже после гибели Гумилева. Но стихи ее я знала и любила задолго до этого. Да и кто не знал тогда: «Сжала руки под темной вуалью...». Кто не зачитывался ее «Чётками». Помню, я была больна, чуть ли не умирала, когда отец принес мне «Чётки». Лежа в постели, я зачитывалась этой книгой, хотя душа держалась на такой тоненькой ниточке, что, казалось, вздохнешь, и оборвется.

Недавно в журнале «Огонек» была статья об Ахматовой. Автор, ссылаясь на отзыв Анны Андреевны, высказался в том духе, что моим воспоминаниям нельзя верить. Сомневаюсь вообще, чтобы Ахматова могла прочесть «На берегах Невы». Книга вышла в 1966 году. Анна Андреевна умерла в начале того же года, до моей ли книги ей было?

— Ирина Владимировна! Мы говорим все о других, давайте поговорим немного о вас...

— Да что говорить обо мне. Жизнь моя была долгой и непростой. Было все, но больше — особенно последние годы — боли, горечи утрат. Но, знаете, меня всегда спасал мой характер. Я по натуре счастливый человек. Обычно о счастье говорят или в прошлом, или же в будущем: ах, как я была счастлива; или же — если бы случилось так и так, то счастье было бы полным... А я ощущаю полноту жизни всегда. В самое трудное время, в самые неудачные дни у меня бывают мгновения, когда я абсолютно счастлива. Вот говорю я сейчас с вами, вспоминаю свою жизнь, людей мне близких и дорогих, и искренне рада этим минутам и благодарна случаю, который мне их подарил...

Беседу вела
Анна КОЛОНИЦКАЯ.

Полностью интервью с И. В. Одоевцевой будет опубликовано в одном из ближайших номеров журнала «Вопросы литературы».